

И первое определение, и тяжкий дневниковый вздох принадлежат Льву Николаевичу Толстому одномоментно – к концу первого и последнему для него десятилетия наступившего XX века – века великих надежд и невиданных разочарований, сначала поднявшего человека с колен, а под конец опустившего его на четвереньки. (Замечу в скобках, что стоять на коленях и стоять на четвереньках – это, конечно, два разных психологически, нравственно, политически и всяко обусловленных положения).

Начало его, века, было временем больших ожиданий, не вполне вразумительных чаяний и связанных с ними неизбежных и весьма горьких по плодам иллюзий. Исторически молодая русская интеллигенция, находящаяся под самыми различными влияниями и поветриями – что с моря, именно с Запада надует, – была больна частью идеализмом, частью базаровским материализмом («оба хуже», по известному выражению), и это разрывало национальный мировоззренческий и политический дискурс России не надвое даже, а на десяток враждующих сегментов, и один из самых весомых принадлежал Толстому. Революционно-либеральный («зеркало русской революции», как определил Ленин), идеалистический по духу, основанный на совершенно неоправданных надеждах и иллюзиях в отношении реального человека, он выразился в одном из вариантов названия его статьи 2009 года: «Революция неизбежная, необходимая и всеобщая». Он, этот толстовский сегмент, противостоял не только охранительному консерватизму Победоносцева, царизма вообще, взламывал его, но и «интеллигентам-расстригам» из «Вех», гневно обвинённым в прессе тех лет в отступничестве от общего либерально-интеллигентского дела. Это был, если воспользоваться определением отца Сергия (Булгакова), типичный «героизм» с призывами немедленно изменить сознание, а с ним и весь образ жизни как отдельного человека, так и человечества в целом, уже созревшего якобы для самых решительных перемен в сторону вождя идеала. Предлагаемое же, вернее – исповедуемое «Вехами» реформаторское (не в нынешнем, конечно, российском смысле «большого хапка») «подвижничество» в силу его медлительности и хлопотной непрестанности усилий, никак не устраивало «властителей дум», Толстого в том числе. Этому знаковому для эпохи идеализму-героизму, кстати, эхом отзывался с другого конца политического спектра мальчишеский проект Николая Второго, в самом конце XIX века предложившего мировым державам-хищникам всеобщее разоружение, мир и благолепие, чем вызвал в них мелкий смешок и полную уверенность, что этого-то простеца можно втянуть в любую свою стратегическую

комбинацию. И втягивали, и он втащил Россию, вопреки наставлениям батюшки, в две совершенно ненужные ей губительные войны с революциями, бездарно и преступно угробив в них более четырёх миллионов подданных, не считая гражданской войны как прямого следствия... Истинно сказано: хороший человек – не профессия. И, наверное, не предлог для канонизации, ставшей возможной лишь на волне нынешнего официозного антисоветизма.

Вот Валентин Яковлевич Курбатов в своей статье «Вёрсты полосаты» задаётся вопросом, почему Лев Николаевич не услышал «исступлённости» обезбоженной интеллигенции, как явно не захотел понять и вперёд смотрящей мысли авторов «Вех»? Да не потому ли, что сам был «исступлён и одержим» своей идеей «нравственной революции сознания» под тем же самым слоганом на знамени «Всё и сразу!» и не принял «Вехи» именно идеологически, как ему «ненужное» и даже враждебное, а во-все не из-за неясности, кастовости их языка? Исступлён творящейся несправедностью на просторах империи, хвастливо называвшей себя «житницей Европы» и в первые двенадцать лет наступившего XX века допустившей семь(!) массовых голодов, не говоря уже о других хорошо известных и большей частью справедливых толстовских претензиях и гневных требованиях к правящим кругам страны. Лев Николаевич сам посильно боролся с голодом в округе и насмотрелся на злоеущие «маски смеха» на истощённых детских личиках...

Да, это было «нравственным героизмом», ставшим как бы идеологическим наивысшим героизма революционно-террористического, а затем и восстания 1905 года, взаимные идейные симпатии здесь никак не скрывались. Но, разумеется, революционеры всякого вида и рода отбирали «из Толстого» только то, что им было нужно, посмеиваясь над «непротивлением злу насилием» и прочими «чуждачествами великого старца».

Квинтэссенцией этих «чуждачеств» и стала книга «Путь жизни», вышедшая, хотя и с цензурными изъятиями, в 1911 году.

Читая же её сейчас, волей-неволей получаешь неустрашимое, даже навязчивое впечатление, что основные послы её ведут к тому, что можно назвать «монашеством в миру». Вы, конечно же, помните последнее напутствие старца Зосимы Алёше Карамазову: «Мыслью о тебе так: изыдешь из стен сих (монастырских – **П.К.**), а в миру пребудешь как инок. Много будешь иметь противников, но и самые враги твои будут любить тебя. Много несчастий принесёт тебе жизнь, но ими-то ты и счастлив будешь, и жизнь благословишь, и других благословить заставишь – что важнее всего...» Само перечисление названий статей, в книгу входящих, имеет или прямое «неделание» («самоотречение», «смирение»), или подразумеваемое императивное, повелительное наклонение («суеверие государства», «ложная вера», «ложная наука» и пр.), приличествующее, иногда кажется, более монашескому уставу, нежели правилу жизни мирского человека. Сентенции, изречения-максимы, теоретические упражнения и рассуждения известных мыслителей, вполне тенденциозно подобранные, становятся в устах Л.Н. именно императивами, категорическими требованиями, не говоря уж о его собственных мыслях по тому или иному поводу. Заманчиво следовать им, откликаться зову того смутного высшего, что живёт в каждом из нас, – мысленно следовать, признается опять же каждый из нас, в мыслях и чувствах пытаться преодолеть страшное «кажущее зло» жизни (определение Толстого) и признать, принять, что жизнь – благо. А небытие, соответственно, зло, в котором, как ни парадоксально, нету зла, нет самих нас, ничего нет. А вот в бытии-благе, порассуждаем и мы, такой гомерический преизбыток его, что превращает реальное существование в великое, отнюдь не кажущееся Зло, исполненное внутренней тяжкой ненависти и презрения ко всему живому, запредельной жестокости. Оглянитесь, всё в ойкумене обитаемой изначально построено на бесчисленных и гнусных «цепочках питания», на пожирании друг друга, мириады ежесекундных смертей

и не менее болезненных порой рождений делают ноосферу нашей злост-частной, «большой жизнью» планеты сплошным океаном страданий, одним сплошным – за пределами слуха – воплем страдания, и только благое неведение, а вернее – недуманье наше спасает нас от умопомешательства или предельного цинизма, да ещё редкие мимолётные приступы счастья, либо покоя. Либо успокаивающего вегетарианства, тоже ведь довольно ложного, поскольку и растения имеют, как выяснилось, свою нервную систему и так же подвержены страданию...

Но, как говорится, не будем о грустном. Будем о том, что весёлым тоже не назовёшь, в частности, о недобрых выдумках некоторых атеистов, что в истовую веру, в монахи, в отшельничество и пустыни люди шли и сейчас идут от рокового, судьбоносного осознания всей этой гнусности и безысходности жизни как таковой, и человеческой в особенности, но в молитвах, убоая Бога, смиряя себя, убеждая и признавая всё творенье Божье за великое благо...

Чем был уход великого Льва из Ясной Поляны – не попыткой ли своеобразного «монашества в миру»? Слишком многое указывает на это – от давно мучительной невозможности совмещать своё барское существование, материальные интересы семьи с проповедуемыми смыслами до Оптиной, Шамордино (как символами), до Северного Кавказа, всегдашнего прибежища разноверов, и даже до заграницы (нелегально!), чтоб уж стать свободным вполне. А взял с собой в дорогу и читал, между прочим, «Братьев Карамазовых», первый том которых с прощанием Зосимы был прочитан им ещё 19 октября, за девять дней до ухода... Не говорю, конечно же, о каком-то прямом внушении-влиянии, нет, но лишь о самой идее мирского иночества; вообще же, постригаться в монахи на исходе лет и дней – давняя православная традиция. Инок – иной среди обычных, обыкновенных; да и не было ли своего рода «старчеством» его беспрецедентное в русской литературе «стояние», противостояние «обычаю жизни», её гнусной и лживой обыденщине, парадигме по-нынешнему, с неимоверным потоком сюда, в Ясную, страждущих, обиженных, правды взыскующих и просто любопытствующих ходоков со всех концов света? «Старчество» с обратной связью, в отличие от монастырского, ибо и сам он искал в приходящих к нему ответы на свои неутолимые вопросы – и чаще всего, кажется, не находил; практика последователей того, что называют толстовством, далеко расходилась с тем, как мыслился ему истинным «путь жизни», известно его горькое неприятие «толстовцев». И это всё чаще вызывало в нём гнетущее «сознание тщеты рассуждений», умозрительных построений на зыбком фундаменте человека как такового – как своих, так и тех, кого он цитировал в книге. Реальная жизнь всё выправляла по-своему, и не было ли это неким внутренним кризисом и самого учителя, и учения его, и не от этого ли (в том числе) уходил он, даже убегал инстинктивно в Астапово, в смерть?

Вопросы, согласитесь, не совсем зряшные, вытекающие из самого учения – противоречивого, полного парадоксов и антиномий, насмерть враждующих посылов. Вроде бы всё в нём построено на вере в нравственные силы и возможности человеческой личности, в надежде на её самосовершенствование – и тут же читаешь: «Я не помню ничего о себе до моего рождения и потому думаю, что и после смерти не буду ничего помнить о своей теперешней жизни... Говорят: «То только настоящее бессмертие, при котором удержится моя личность». Да личность моя и есть то, что меня мучает, что мне более всего отвратительно в этом мире, от чего я всею жизнью своей старался избавиться...» Тупик – и логический, и духовный. Скажете: он хотел избавиться от своей «плохой» личности, дескать, обрета «хорошую». Но это лишь «продление тупика» всё того же, ибо личность, то есть душа с памятью, у человека неразъединяемая, личность без памяти невозможна, это уже будет «овощ». А «бессмертие» и «личность», если чуть вдуматься – это, по сути, синонимы, оно, бессмертие, и приложимо-то только к личности.

И не в том даже дело, сколько таких тупикив, неразрешимостей в итоговой книге жизни Толстого и любого из нас, в любой написанной и ненаписанной книге. Это самозавязки, гордые узлы самого человеческого мышления, которое не в силах охватить, выразить и «согласить» всю великую антиномичность бытия. И Лев Николаевич, сам являясь одной из вершин земного разума и духа, лучше многих других осознавал эту малосильность человеческой мысли, своей тоже, когда писал в дневнике об одной прочитанной книжке, что в ней путаницы больше, дескать, чем у него самого... И опять: «Всё больше и больше сознаю тщету писаний, всяких и особенно своего...» И добавил: «А не сказать (т.е. не писать – **П.К.**) не могу...» Не мог молчать, как всегда.

Да, это был, по-нынешнему говоря, «системный кризис» его учения, судя по всему, усугубленный тяжелейшим положением в семье и подтолкнувший, наряду со всем прочим, к бегству из неё, в каком-то смысле и от себя тоже, и во что он вылился бы, проживи Л.Н. ещё несколько лет, теперь не скажешь. «Толстовство» как движение, и без того рыхлое, аморфное и никак не оформленное, тут же распалось без него, рассыпалось на истаивающие фрагменты, а революция и вовсе разметала их, лишив последних иллюзий. И само учение, утративши генерирующий и постоянно подпитывающий центр, словно бы расплылось, развеялось более чем суровыми ветрами времени – но, тем самым, стало частью нашей духовной, нравственной атмосферы, войдя в кислородную составляющую её воздуха, которым дышала и всегда будет дышать русская литература, истинно русское творчество вообще, по духу человеколюбия и сострадания определяемое, а не по ханжескому и весьма избирательному гуманизму современному.

В заключение хотелось бы сказать ещё об одном, довольно примечательном. Как правило, в литературоведении и критике больше уделяют внимания всё-таки различиям между Толстым и Достоевским, порой чуть ли ни соперниками их считая, – различиям художественно-стилистическим, мировоззренческим, вероисповедным, идеологическим наконец. Да, всё это, разумеется, есть. Я уже отмечал определённую «ветхозаветность» Толстого с его библейской, языческой, одновременно художественной мощью (и с отрицанием, кстати, Божественности Христа) и «новозаветность» Достоевского с его стилистической аскезой и «невопрошающей», по слову Курбатова, верой. Но вот читаешь главу «Одна душа во всех» толстовской книги, а затем рассказ старца Зосимы о его в молодости встрече с человеком по имени Михаил, убившим любимую женщину, и встречаю в обоих почти дословно выраженную тоску по чаемому братству людей вопреки ныне царящему «уединению», эгоистическому разъединению их, атомизации пресловутой. «Чтоб переделать мир по-новому, надо, чтобы люди сами психически повернулись на другую дорогу. Раньше, чем не сделаешься в самом деле всякому братом, не наступит братства». Или другая цитата: «Для того, чтобы было легко жить с каждым человеком, думай о том, что тебя соединяет с ним, а не о том, что тебя разъединяет с ним... Чем больше живут люди, тем всё больше и больше понимают они то, что жизнь их только тогда истинная и счастливая, когда они признают своё единство в одном и том же духе, живущем во всех...» Только, может, по некоторым стилистическим признакам можно понять, кому из них принадлежит то или другое высказывание. И это не что иное, как их единодушие в глубинном понимании главных духовных проблем человека, а с ним и общества, перекачка их духовная, и я убеждён, само собой, что это две разные дороги, ведущие к единой высокой цели, и что «непротивленец» князь Мышкин вполне мог быть написан Львом Толстым, а «Отец Сергей», скажем, Фёдором Достоевским, вариантов таких, очень условных, конечно, – предположений может быть немало. Главная же суть в их высоком служении Истине, как они понимали её и к которой стремились всем своим горячим и великим даром, каким наделил их Бог и русский народ.